

## Декабрь

### Глава вторая II. ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ И НЕКРАСОВ

И во-первых, словом «байронист» браниться нельзя. Байронизм хоть был и моментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества, да чуть ли не в жизни и всего человечества. Байронизм появился в минуту страшной тоски людей, разочарования их и почти отчаяния. После исступленных восторгов новой веры в новые идеалы, провозглашенной в конце прошлого столетия во Франции, в передовой тогда нации европейского человечества наступил исход, столь не похожий на то, чего ожидали, столь обманувший веру людей, что никогда, может быть, не было в истории Западной Европы столь грустной минуты. И не от одних только внешних (политических) причин пали вновь воздвигнутые на миг кумиры, но и от внутренней несостоятельности их, что ясно увидели все прозорливые сердца и передовые умы. Новый *исход* еще не обозначался, новый клапан не отворялся, и всё задышалось под страшно понизившимся и сузившимся над человечеством прежним его горизонтом. Старые кумиры лежали разбитые. И вот в эту-то минуту и явился великий и могучий гений, страстный поэт. В его звуках зазвучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и в обманувших его идеалах. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали[14], проклятия и отчаяния. Дух байронизма вдруг пронесся как бы по всему человечеству, всё оно откликнулось ему. Это именно было как бы отворенный клапан; по крайней мере, среди всеобщих и глухих стонов, даже большею частью бессознательных, это именно был тот могучий крик, в котором соединились и согласились все крики и стоны человечества. Как было не откликнуться на него и у нас, да еще такому великому, гениальному и руководящему уму, как Пушкин? Всякий сильный ум и всякое великодушное сердце не могли и у нас тогда миновать байронизма. Да и не по одному лишь сочувствию к Европе и к европейскому человечеству издали, а потому, что и у нас, и в России, как раз к тому времени, обозначилось слишком много новых, неразрешенных и мучительных тоже вопросов, и слишком много старых разочарований... Но величие Пушкина, как руководящего гения, состояло именно в том, что он так скоро, и окруженный почти совсем не понимавшими его людьми, нашел твердую дорогу, *нашел великий и возделенный исход для нас, русских, и указал на него*. Этот исход был — народность, *преклонение перед правдой народа русского*. «Пушкин был явление великое, чрезвычайное». Пушкин был «не только русский человек, но и первым, русским человеком». Не понимать русскому Пушкина значит не иметь права называться русским. Он понял русский народ и постиг его назначение в такой глубине и в такой обширности, как никогда и никто. Не говорю уже о том, что он, всечеловечностью гения своего и способностью откликаться на все многообразные духовные стороны европейского человечества и почти перевоплощаться в гении чужих народов и национальностей,

засвидетельствовал о всечеловечности и всеобъемлемости русского духа и тем как бы провозвестил и о будущем предназначении гения России во всем человечестве, как всеединящего, всепримиряющего и всё возрождающего в нем. начала. Не скажу и о том даже, что Пушкин первый у нас, в тоске своей и в пророческом предвидении своем, воскликнул:

Увижу ли народ освобожденный  
И рабство, павшее по манию царя!

Я скажу лишь теперь о любви Пушкина к народу русскому. Это была любовь всеобъемлющая, такая любовь, какую еще никто не выказывал до него. «Не люби ты меня а полюби ты *мое*» — вот что вам скажет всегда народ, если захочет увериться в искренности вашей любви к нему.

Полюбить, то есть пожалеть народ за его нужды, бедность, страдания, может и всякий барин, особенно из гуманных и европейски просвещенных. Но народу *надо*, чтоб его не за одни страдания его любили, а чтоб полюбили и *его самого*. Что же значит *полюбить его самого*? «А полюби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту» — вот что это значит и вот как вам ответит народ, а иначе, он никогда вас за своего не признает, сколько бы вы там об нем ни печалились. Фальшь тоже всегда разглядит, какими бы жалкими словами вы ни соблазняли его. Пушкин именно так полюбил народ, как народ того требует, и он не угадывал, как надо любить народ, не приготавлился, не учился: он сам вдруг оказался народом. Он преклонился перед правдой народной, он признал народную правду как свою правду. Несмотря на все пороки народа и многие смердящие привычки его, он сумел различить великую, суть его духа тогда, когда никто почти так не смотрел на народ, и принял эту суть народную в свою душу как свой идеал. И это тогда, когда самые наиболее гуманные и европейски развитые любители народа русского сожалели откровенно, что народ наш столь низок, что никак не может подняться до парижской уличной толпы. В сущности эти любители всегда презирали народ. Они верили, главное, что он раб. Рабством же извиняли падение его, но раба не могли ведь любить, раб все-таки был отврастителен. Пушкин первый объявил, что русский человек *не раб* и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство. Было рабство, но не было рабов (в целом, конечно, в общем, не в частных исключениях) — вот тезис Пушкина. Он даже по виду, по походке русского мужика заключал, что это не раб и не может быть рабом (хотя и состоит в рабстве), — черта, свидетельствующая в Пушкине о глубокой непосредственной любви к народу. Он признал и высокое чувство собственного достоинства в народе нашем (опять-таки в целом, мимо всегдашних и неотразимых исключений), он предвидел то спокойное достоинство, с которым народ наш примет и освобождение свое от крепостного состояния,—чего не понимали, например, замечательнейшие образованные русские европейцы уже гораздо позднее Пушкина и ожидали совсем другого от народа нашего. О, они любили народ

искренно и горячо; но по-своему, то есть по-европейски. Они кричали о зверином состоянии народа, о зверином положении его в крепостном рабстве, но и верили всем сердцем своим, что народ наш действительно зверь. И вдруг этот народ очутился свободным с таким мужественным достоинством, без малейшего позыва на оскорбление бывших владельцев своих: «Ты сам по себе, а я сам по себе, если хочешь, иди ко мне, за твое хорошее всегда тебе от меня честь». Да, для многих наш крестьянин по освобождении своем явился странным недоумением. Многие даже решили, что это в нем от неразвитости и тупости, остатков прежнего рабства. И это теперь, что же было во времена Пушкина? Не я ли слышал сам, в юности моей, от людей передовых и «компетентных», что образ пушкинского Савельича в «Капитанской дочке», раба помещиков Гриневых, упавшего в ноги Пугачеву и просившего его пощадить барчонка, а «для примера и страха ради повесить уж лучше его, старика», — что этот образ не только есть образ раба, но и апофеоз русского рабства!

Пушкин любил народ не за одни только страдания его. За страдания сожалеют, а сожаление так часто идет рядом с презрением. Пушкин любил всё, что любил этот народ, чтил всё, что тот чтил. Он любил природу русскую до страсти, до умиления, любил деревню русскую. Это был не барин, милостивый и гуманный, жалеющий мужика за его горькую участь, это был человек, сам перевоплощавшийся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в образ его. Умаление Пушкина как поэта, более исторически, более архаически преданного народу, чем на деле, — ошибочно и не имеет даже смысла. В этих исторических и архаических мотивах звучит такая любовь и такая *оценка народа*, которая принадлежит народу *вековечно*, всегда, и теперь и в будущем, а не в одном только каком-нибудь давнопрошедшем историческом народе. Народ наш любит свою историю главное за то, что в ней встречается незыблемою ту же самую святыню, в которую сохранил он веру и теперь, несмотря на все страдания и мытарства свои. Начиная с величавой, огромной фигуры летописца в «Борисе Годунове», до изображения спутников Пугачева, — всё это у Пушкина — народ в его глубочайших проявлениях, и всё это понятно народу, как собственная суть его. Да это ли одно? Русский дух разлит в творениях Пушкина, русская жилка бьется везде. В великих, неподражаемых, несравненных песнях будто бы западных славян, но которые суть явно порождение русского великого духа, вылилось всё воззрение русского на братьев славян, вылилось всё сердце русское, объявилось всё мировоззрение народа, сохраняющееся и доселе в его песнях, былинах, преданиях, сказаниях, высказалось всё, что любит и чтит народ, выразились его идеалы героев, царей, народных защитников и печальников, образы мужества, смирения, любви и жертвы. А такие прелестные шутки Пушкина, как, например, болтовня двух пьяных мужиков, или Сказание о медведе, у которого убили медведицу, — это уже что-то любовное, что-то милое и умиленное в его созерцании народа. Если б Пушкин прожил дольше, то

оставил бы нам такие художественные сокровища для понимания народного, которые, влиянием своим, наверно бы сократили времена и сроки перехода всей интеллигенции нашей, столь возвышающейся и до сих пор над народом в гордости своего европеизма,— к народной правде, к народной силе и к сознанию народного назначения. Вот это-то поклонение перед правдой народа вижу я отчасти (увы, может быть, один я из всех его почитателей) — и в Некрасове, в сильнейших произведениях его. Мне дорого, очень дорого, что он «печальник народного горя» и что он так много и страстно говорил о горе народном, но еще дороже для меня в нем то, что в великие, мучительные и восторженные моменты своей жизни он, несмотря на все противоположные влияния и даже на собственные убеждения свои, преклонялся перед народной правдой всем существом своим, о чем и засвидетельствовал в своих лучших созданиях. Вот в этом-то смысле я и поставил его как пришедшего после Пушкина и Лермонтова с тем же самым отчасти новым словом, как и те (потому что «слово» Пушкина до сих пор еще для нас новое слово. Да и не только новое, а еще и неузнанное, неразобранное, за самый старый хлам считающееся).

Прежде чем перейду к Некрасову, скажу два слова и о Лермонтове, чтоб оправдать то, почему я тоже поставил и его как уверовавшего в правду народную. Лермонтов, конечно, был байронист, но по великой своеобразной поэтической силе своей и байронист-то особенный — какой-то насмешливый, капризный и брюзгливый, вечно неверующий даже в собственное свое вдохновение, в свой собственный байронизм. Но если б он перестал возиться с больной личностью русского интеллигентного человека, мучимого своим европеизмом, то наверно бы кончил тем, что отыскал исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой, и на то есть большие и точные указания. Но смерть опять и тут помешала. В самом деле, во всех стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще лжет и сам знает об этом и мучается тем, что лжет, но чуть лишь он коснется народа, тут он светел и ясен. Он любит русского солдата, казака, он чтит народ. И вот он раз пишет бессмертную песню о том, как молодой купец Калашников, убив за бесчестье свое государева опричника Кирибеевича и призванный царем Иваном пред грозные его очи, отвечает ему, что убил он государева слугу Кирибеевича «вольной волею, а не нехотя». Помните ли вы, господа, «раба Шибанова»? Раб Шибанов был раб князя Курбского, русского эмигранта 16-го столетия, писавшего всё к тому же царю Ивану[15] свои оппозиционные и почти ругательные письма из-за границы, где он безопасно приютился. Написав одно письмо, он призвал раба своего Шибанова и велел ему письмо снести в Москву и отдать царю лично. Так и сделал раб Шибанов. На Кремлевской площади он остановил выходившего из собора царя, окруженного своими приспешниками, и подал ему послание своего господина, князя Курбского: Царь поднял жезл свой с острым наконечником, с размаху вонзил его в ногу Шибанова, оперся на жезл и стал читать послание. Шибанов с проколотой ногою не шевельнулся. А царь, когда стал

потом отвечать письмом князю Курбскому, написал, между прочим: «Устыдися раба твоего Шибанова». Это значило, что он сам устыдился раба Шибанова. Этот образ русского «раба», должно быть, поразил душу Лермонтова. Его Калашников говорит царю без укора, без попрека за Кирибеевича, говорит он, зная про верную казнь, его ожидающую, говорит царю «всю правду истинную», что убил его любимца «вольной волею, а не нехотя». Повторяю, остался бы Лермонтов жить, и мы бы имели великого поэта, тоже признавшего правду народную, а может быть, и истинного *«печальника горя народного»*. Но это имя досталось Некрасову...

Опять-таки, я не равняю Некрасова с Пушкиным, я не меряю аршином, кто выше, кто ниже, потому что тут не может быть ни сравнения, ни даже вопроса о нем. Пушкин, по обширности и глубине своего русского гения, до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентным мировоззрением. Он великий и непонятый еще предвозвеститель. Некрасов есть лишь малая точка в сравнении с ним, малая планета, но вышедшая из этого же великого солнца. И мимо всех мерок: кто выше, кто ниже за Некрасовым остается бессмертие, вполне им заслуженное, и я уже сказал почему—за преклонение его перед народной правдой, что происходило в нем не из подражания какого-нибудь, не вполне по сознанию даже, а потребностью, неудержимой силой. И это тем замечательнее в Некрасове, что он всю жизнь свою был под влиянием людей, хотя и любивших народ, хотя и печалившихся о нем, может быть, весьма искренно, но никогда не признававших в народе правды и всегда ставивших европейское просвещение свое несравненно выше истины духа народного. Не вникнув в русскую душу и не зная, чего ждет и просит она, им часто случалось желать нашему народу, со всею любовью к нему, того, что прямо могло бы послужить к его бедствию. Не они ли в русском народном движении, за последние два года, не признали почти вовсе той высоты подъема духа народного, которую он, может быть, в первый раз еще выказывает в такой полноте и силе и тем свидетельствует о своем здоровом, могучем и неколебимом доселе живом единении в одной и той же великой мысли и почти предузнает сам будущее предназначение свое. И мало того, что не признают правды движения народного, но и считают его почти ретроградством, чем-то свидетельствующим о непроходимой бессознательности, о заматеревшей веками неразвитости народа русского. Некрасов же, несмотря на замечательный, чрезвычайно сильный ум свой, был лишен, однако, серьезного: образования, по крайней мере, образование его было небольшое. Из известных влияний он не выходил во всю жизнь, да и не имел сил выйти. Но у него была своя, своеобразная сила в душе, не оставлявшая его никогда,— это истинная, страстная, а главное, непосредственная любовь к народу. Он болел о страданиях его всей душою, но видел в нем не один лишь униженный рабством образ, звериное подобие, но смог силой любви своей постичь почти бессознательно и красоту народную, и силу его, и ум его, и страдальческую кротость его и даже часть

уверовать и в будущее предназначение его. О, сознательно Некрасов мог во многом ошибаться. Он мог воскликнуть в недавно напечатанном в первый раз экспромте его, с тревожным укором созерцая освобожденный уже от крепостного состояния народ:

...Но счастлив ли народ?

Великое чутье его сердца подсказало ему скорбь народную, но если б его спросили, «чего же пожелать народу и как это сделать?», то он, может быть, дал бы и весьма ошибочный, даже пагубный ответ. И, уж конечно, его нельзя винить: политического смысла у нас еще до редкости мало, а Некрасов, повторяю, был всю жизнь под чужими влияниями. Но сердцем своим, но великим поэтическим вдохновением своим он неудержимо примыкал, в иных великих стихотворениях своих, к самой сути народной. В этом смысле это был народный поэт. Всякий, выходящий из народа, при самом малом даже образовании, поймет уже много у Некрасова. Но лишь при образовании. Вопрос о том, поймет ли Некрасова теперь прямо весь народ русский,— без сомнения, вопрос явно немыслимый. Что поймет «простой народ» в шедеврах его: «Рыцарь на час», «Тишина», «Русские женщины»? Даже в великом «Власе» его, который может быть понятен народу (но не вдохновит нисколько народ, ибо всё это поэзия, давно уже вышедшая из непосредственной жизни), народ отличит два-три фальшивые штриха наверно. Что разберет народ в одной из самых могучих и самых зовущих поэм его «На Волге»? Это настоящий дух и тон Байрона. Нет, Некрасов пока еще — лишь поэт русской интеллигенции, с любовью и со страстью говоривший о народе и страданиях его той же русской интеллигенции. Не говорю в будущем,— в будущем народ отметит Некрасова. Он поймет тогда, что был когда-то такой добрый русский барин, который плакал скорбными слезами о его народном горе и ничего лучше и придумать не мог, как, убегая от своего богатства и от грешных соблазнов барской жизни своей, приходить в очень тяжкие минуты свои к нему, к народу, и в неудержимой любви к нему очищать свое измученное сердце,— ибо любовь к народу у Некрасова была лишь *исходом его собственной скорби по себе самом...*

Но прежде чем разъясню, как понимаю я эту «собственную скорбь» дорогого нам усопшего поэта по себе самом,— не могу не обратить внимание на одно характерное и любопытное обстоятельство, обозначившееся почти во всей нашей газетной прессе сейчас после смерти Некрасова, почти во всех статьях, говоривших о нем.

## Примечания:

[13]. ...и явился великий и могучий гений, страстный поэт. — О Байроне (1788—1824) и его русских последователях см. также в «Ряе статей о русской литературе» (1861).

[14]. ...муза мести и печали... — Из стихотворения «Замолкни, муза мести и печали!» (1856).

[15]. *Раб Шибанов был раб князя Курбского, русского эмигранта 16-го столетия, писавшего все к тому же царю Ивану...* — Имеется в виду переписка князя Андрея Михайловича Курбского (1528—1583) с Иваном Грозным, начавшаяся в 1564 г. письмом князя, бежавшего от гнева Грозного в Литву после проигранного сражения. См. об этом статью Я. С. Лурье «Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси» в кн.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским (Л., 1979. С. 214—249). Ироническая характеристика князя Курбского у Достоевского восходит к рассуждению Добролюбова (статья «О степени участия народности в развитии русской литературы» (Современник. 1858. № 2. Отд. II. С. 113—167)) об Иване Грозном и Курбском, которых критик противопоставляет на основании «греческого» (иначе — византийского) начала в характере одного и западного (личностного) начала в характере другого: «Он (Иван.— В.В.) силится доказать, что бояре, как и все подданные, обязаны были до конца претерпеть с кротостью и незлобием все его жестокости; в пример подобной кротости приводит он раба Курбского, Василия Шибанова, который спокойно стоял пред Иоанном, когда этот своим костылем пригвоздил его ногу к полу и, облокотясь на костыль, читал письмо Курбского. Но Курбский уже не убеждается доводами Иоанна: у него другая точка опоры — сознание собственного своего достоинства. Взгляд его не может еще возвыситься до того, чтобы объяснить надлежащим образом и поступок Грозного с Шибановым; нет — Шибанов пусть терпит <...> Но с собой, с князем Курбским, аристократом и доблестным вождем, он не позволит так обращаться. За себя и за своих сверстников-аристократов он мстит Иоанну гласностью, историей <...> В царствование Грозного горькая истина должна была высказываться в чужой земле, далеко от России, в которой вся письменность блуждала еще в византийских отвлечениях, не касаясь жизни. Книга Курбского первая написана отчасти уже под влиянием западных идей: ею Россия отпраздновала начало своего избавления от восточного застоя в узкой односторонности понятий» (Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 2. С. 246-247).